**Николай Бердяев**

Борис ПАРАМОНОВ

Николай Александрович Бердяев (годы жизни 1874 — 1948) — самый бесспорный кандидат на звание русского европейца; да и не кандидат даже, а человек, обладающий всей полнотой прав этого звания. Начать хотя бы с того, что он уже при жизни был всемирно известен. Не только в европейском масштабе, но именно всемирно: в автобиографии «Самопознание» Бердяев пишет, как он однажды получил письмо от читателя из Чили, и как стало ему грустно, что его знают везде, но не знают на родине. Сейчас, конечно, положение изменилось, Бердяев вошел в пантеон отечественной классики, книги его широко изданы в России. Тут не обошлось, конечно, без парадоксов: поначалу, когда рушились цензурные препятствия, в эпоху гласности и перестройки, Бердяева начали издавать такими тиражами, что, как говорится, затоварили рынок. Приехавший из Парижа культурный эмигрант, занимавшийся как раз изданием за границей запрещенных в СССР русских книг, увидев на прилавках книжных магазинов кипы нераспроданной книги Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», сказал: «У меня нет сил комментировать этот факт, я должен сперва его обдумать».

Это был, конечно, русский курьез, что-то вроде Демьяновой ухи. Но вот ажиотаж схлынул, русский культурный пантеон восстановлен в полноте, значимость той или иной фигуры этого пантеона определилась, кажется, на вечные времена. Что же можно сказать о Бердяеве и России сейчас?

Я не думаю, что он стал бестселлерным автором; да и не должен таким быть философ. Его издают и читают — те, кому сегодня надо читать такие книги. В конце концов, на большее никакой серьезный автор и не может претендовать. Но заметно и другое: в России некоторые философские имена оказались предпочтительней других, некоторые авторы имеют аудиторию, как бы и превышающую корректные академические или учебные масштабы. Похоже, что слишком популярным стал Иван Ильин, когда-то написавший серьезную — лучшую в России — двухтомную книгу о Гегеле, но потом, в эмиграции, ставший, прямо скажем, черносотенным публицистом. Одну из его книг «О сопротивлении злу силой» именно Бердяев назвал сочинением Великого Инквизитора.

Что касается самого Бердяева, то у него с эмиграцией возникли холодноватые отношения. Его уважали, с ним считались — по причине его славы, — но он оставался чужим среди русских. В эмигрантской церковной среде Бердяева вообще ненавидели, почти открыто. При этом в европейских культурных кругах Бердяев считался едва ли не наиболее типичным русским: его тип мышления таким считали, видя в нем, думается, одного из философствующих героев Достоевского, хорошо знакомого на Западе. Вот тут и намечается центр бердяевского проблемы: знаменитый русский — не совсем и русский по складу своего мышления, по типу своей духовной личности. Тем более стоит говорить о европейском его спецификуме.

Впрочем, сам Бердяев в упоминавшейся уже автобиографии «Самопознание» определил очертания и границы своего отношения к русской и западной культурной традиции:

«Я был человеком западной культуры. Можно даже про меня сказать, что западная культура мне имманентна и что я имманентен ей. С какими же русскими мыслями приехал я на Запад? Думаю, что прежде всего я принес эсхатологическое чувство судеб истории, которое западным людям и западным христианам было чуждо и, может быть, лишь сейчас пробуждается в них. Я принес с собой мысли, рожденные в катастрофе русской революции, в конечности и запредельности русского коммунизма (:) Принес с собой сознание кризиса исторического христианства. Принес сознание конфликта личности и мировой гармонии, индивидуального и общего, неразрешимого в пределах истории. Принес также русскую критику рационализма, изначальную русскую экзистенциальность мышления. (:) Я многому учился у западной мысли, более всего у германской, многому продолжаю учиться за годы своего изгнанничества в Западной Европе. Но во мне всегда оставалось что-то неистребимо «мое» индивидуально-личное и мое русское. (:) Я принес также с собой своеобразный русский анархизм на религиозной почве, отрицание религиозного смысла принципа власти и верховной ценности государства. Русским я считаю также понимание христианства как религии Богочеловечества».

Бердяев оказался прав в том, что западные люди вскоре сподобились приобщиться катастрофам. Всё прочее в этом перечислении не такое уж и стопроцентно-русское. Подобные темы и мотивы можно обнаружить в мировой философии, и Бердяев сам будет писать о вкорененности экзистенциального типа мышления — которое он здесь бегло очерчивает — в большую европейскую традицию. Экзистенциальность мышления — отнюдь не исключительно русская черта философии. Можно сказать и больше: главная черта мысли Бердяева, его философского даже не типа, а лица — обостренный персонализм — вообще вряд ли русская особенность. Бердяев был самый острый — и едва ли не единственный — персоналист в русской мысли, в русской культуре как таковой. Философия Бердяева — философия свободного духа, отвергающего любые социальные и культурные объективации, даже категорию бытия считающего результатом объективирующей рационализации. Родовая характеристика русской культуры — поиск соборности в мысли и социальном бытии. Европейцы действительно ошибались, принимая Бердяева за типично русского. Типично русские мыслители — это философы христианизированного платонизма, софиологи, идущие от Владимира Соловьева: Флоренский, о. С. Булгаков, Карсавин, связанные с той же традицией евразийцы, да тот же Иван Ильин, если постараться не думать о его истерическом казаковании с воображаемой нагайкой в руках (а папаху казацкую он в самом деле носил). Вот показательный штрих: крупнейший сейчас знаток, да и продолжатель, если угодно, русской философии Сергей Хоружий в своих «Путях русской философии», выстраивая традицию, говорит о всех, кроме Бердяева, старается забыть его, вытеснить из сознания.

И еще — если хотите, главное: свойствен ли русскому мышлению тот анархизм на религиозной почве, который усвояет себе Бердяев? Тут всё нужно повернуть вверх головой и вниз ногами. Невозможно спорить с тем, что русские действительно анархисты не только внутри себя, в своем коллективном бессознательном, но и на высочайших высотах культуры. Достаточно назвать одно имя: Лев Толстой. Это был гений, на высотах культуры начавший погром культуры. Есть очень серьезные историко-культурные интерпретации Толстого, связывающие его с большевизмом (одна из таких интерпретаций принадлежит самому Бердяеву в статье 1918 года «Духи русской революции»). И есть даже не соблазн, а скорее горькая необходимость думать о том, что авторитаризм русской истории и пытающейся осознать ее философии объясняется реакцией на этот природный — докультурный и противокультурный — анархизм, на угрожающую опасность русского бунта, бессмысленного и беспощадного.

Бердяев же был по своей природе бунтарь, и пишет об этом констатирующим тоном, но одновременно как бы и с гордостью. Несомненно, случай Бердяева не может вызвать сомнения в оправданности персонализма — острого сознания первостепенной ценности личности, ее богоподобия, неподвластности никому, кроме Бога, осознания самого Бога не как карающей власти, а как модели и побуждения к высшему творчеству. Но это такая высокая планка, которую редко брали и в Европе, а сейчас, в эпоху масс и массовой культуры, вообще забыли о таких высотах. Философия Бердяева — вся, целиком — апология гениального творчества. А мы слабы и малодушны. Какое дело поэту мирному до нас — и далее по тексту.

Бердяеву не понадобятся массовые тиражи.